

VI.

Роман „Серебряный Голубь“ (1907 — 1909 г.) — первая часть задуманной Андреем Белым трилогии „Восток или Запад“; несмотря на ряд промахов и ошибок, несмотря на то, что роман этот не может быть и сравниваем по значению и по исполнению со вторым романом трилогии — он все же крупное завоевание автора, большое произведение русской литературы. По форме — это наследие Гоголя; по содержанию — развитие прежних мучительных вопросов и исканий Андрея Белого.

Если Вл. Соловьев был духовным учителем Андрея Белого, то учителя формы он, ко времени написания романа, пожелал найти в Гоголе. Еще в 1905 году он, восставая против „безвкусицы Достоевского“ (которому за это во втором своем романе заплатил усиленную дань), звал „назад к Гоголю“; и в статьях его этого времени начинает преобладать гоголевская стилистика, о слоге Гоголя он готов написать целое исследование — и действительно впоследствии кое-что вскрывает в нем остроумно и интересно

(„Гоголь“, 1909 г.). „Серебряный Голубь“ сразу начинается с „гоголизмов“; рассказ ведет то сам автор, то внезапно надевает он личину Рудого Панька. „Уже два года тому, — ведет рассказ автор, и вдруг прорывает страницу знакомое лицо пасечника: — нет, позвольте: когда горела коноваловская свинарня? Поди, три уж года, как свинарня сгорела“... Но то, что у Гоголя в устах Рудого Панька так естественно и живо, часто выходит у Андрея Белого ни к чему, изломанно, надуманно; часто раздражает (это и в „Петербург“ относится) желание автора во что бы то ни стало быть остроумным. К тому же, описывая в этом романе „народ“, Андрей Белый употребил для пущего реализма гнетущий по своему безвусию прием, возвращая нас к худшим произведениям Николая Успенского и „бытовиков“: он пожелал точно „записать“ народный говор — и обратил этим многие диалоги романа в нечто ужасное. Ефтан, иетта, убек, аслапажденье, абнакнавенна, натапнасть, ни-важножна, с флаккам, слапотнава храштанства, сопственной — это в конце концов становится невыносимо, эта безвкусица режет глаз и ухо. Ведь художественное произведение — не диалектологическая запись говора; и записывал автор — грубо, неумело, преувеличенно. Для „реализма“, он делал это, или наоборот, для „символизма“, чтобы провести черту между подлинным народом и тем, который составляет секту его „голубей“? И в том, и в другом случае это прием очень наивный и, что еще хуже, очень безвкусный, обидно пачкающий интересный роман аляповатый суздальской мазней. И все-таки, несмотря на подобные ошибки — роман в целом твердо задуман и крепко выполнен; некоторые главы его, некоторые сцены — например, последний день жизни Дарьяльского и его смерть — незабываемо врезаются в память навсегда.

Роман этот Андрей Белый задумал тогда же, когда в стихах его звучали некрасовские звуки, когда, сойдя с „пути безумий“, он захотел искать спасения в земле, в России, в народе; но в самом народе, в секте „голубей“, поэт Дарьяльский нашел горший путь безумия. Земляной, темный мистицизм „голубей“ почуял „своего“ в московском студенте, поэте Дарьяльском: „если бы разумели они тонкости психических красот, если-б прочли они то, что под фиговым укрылось листом, нарисованном на обложке книжицы Дарьяльского, — да: улыбнулись бы, ах какою улыбкой! Сказали бы: он — из наших“... И наоборот, Дарьяльский, весь погруженный в мир древней Греции, считает „своим“ — народ: „мнилось ему, будто в глубине родного его народа бьется народу

родная и еще жизненно не пережитая старинная старина — древняя Греция... Здесь — бессознательное возрождение элевзинских таинств, путь жизни новой; и во имя этой тайны поэт бросает салонный и эстетствующий мистицизм и припадает к мистицизму народному, темному, земляному. Здесь нет салонной болтовни, а есть „окультное делание“: накатывает „дух“ и рождается „пресветлый юноша-дитя“; и не эстетика здесь, а заскоружные в навозе пальцы рябой Матрены, хлыстовской богородицы, ради которой бросает Дарьяльский свою невесту, светлую Катю. Столяр Кудеяров, глава „голубей“, пользуясь Матреной, запутывает Дарьяльского паутиной нутряной, черной, безумной мистики; с этого нового „пути безумий“ надо скорее бежать, или погибнуть на нем. Дарьяльский пытается бежать слишком поздно, когда он уже весь запутан в паутине — и „голуби“ убивают его. Но куда же убежать ему, если бы даже он и мог? С „безумного“ Востока на рационалистический Запад?

„Голуби“ — это Восток, это темная, нутряная, не нашедшая еще пути сила. — „ужас, петля и яма: не Русь, а какая-то темная бездна востока прет на Русь из этих радением истонченных тел“... И Дарьяльскому шепчут: „Проснитесь, вернитесь обратно — на Запад... Вы — человек Запада; ну, чего это пялите на себя рубашку? Вернитесь обратно“... Запад — это сила разума, сила знания; а всеобщее мировое воскресение — в соединении восточного и западного полюсов. „В тот день, когда к России привьется Запад — всемирный его охватит пожар: сгорит все, что может сгореть, потому что только из пепельной смерти вылетит райская душенька — Жар-Птица“... А пока — безумный Восток столь же неприемлем, как и слишком разумный Запад...

Но уже теперь намечается соединительный путь, — в романе он выражен в эпизодическом лице культурного полу-немца Шмидта (Запад!), прилагающего разум и знание к оккультизму (Восток!). Он хочет спасти Дарьяльского, он открывает ему „ослепительный путь тайного знания“, и Дарьяльский „было уже чуть не уехал с ним за границу — к ним, к братьям, издали влияющим на судьбу“, но темный Восток победил в душе Дарьяльского. Так или иначе, но впервые тут „теософский путь“ намечается, как путь спасения; от чего отказался Дарьяльский — проделал вскоре сам Андрей Белый. Пусть учеником Лысого Шмидта является пока один только смешной Чухолка, „студент-химик, занимавшийся оккультизмом, бесповоротно расстроившим бедные его нервы“;

пройдет несколько лет — и сам Андрей Белый поедет за границу, на выучку к Шмидту — к доктору Штейнеру... А пока — Дарьяльский гибнет в тине безумной, нутряной восточной мистики, в петле, в яме, точно так же, как герой второго романа, Николай Аполлонович Аблеухов, скоро погибнет в тине духовного нигилизма... — восточного или западного?

„Петербург“ — второй роман (1911 — 1913 г.), вторая часть трилогии, и в нем Андрей Белый достиг пока вершины своего творческого пути. В нем как бы „сводка“ всего того, чем до сих пор жило прошлое творчество поэта, и для тех, кто не знаком с этим прошлым — многое в романе только загадка, только непонятная тарабарщина. А между тем роман, казалось бы, очень не сложен; это роман, казалось бы, на двойную тему: о революции и провокации... Действие — в Петербурге, в 1905 году; Николай Аполлонович, студент, сын важного „сенатора“, Аполлона Аполлоновича Аблеухова (в котором многое внешне взято от Победоносцева) — опрометчиво связал себя обещанием перед некоей „партией“. Знаменитый „неуловимый“ террорист Дудкин дает ему на хранение „сардинницу ужасного содержания“ — бомбу с часовым механизмом, а провокатор Липпанченко, видное лицо и в „охранке“ и в партии, тайная пружина всех событий — от имени партии анонимно требует, чтобы Николай Аполлонович подложил эту бомбу своему отцу. Узнав об этом, догадавшись о провокации, больной, сходящий с ума Дудкин убивает Липпанченко. Но бомба — уже заведена Николаем Аполлоновичем... и случайно увесена в другие комнаты ничего не знающим, но что-то смутно подозревающим отцом. Сын в ужасе всюду ищет бомбу, хочет бросить ее в Неву... но бомба взрывается ночью в пустом кабинете, убивая духовно и отца: он думает, что сын хотел его убить, — и сына: он не может разувверить в этом отца. Вот сухой скелет, „фабула“ романа; но разве дело в этом скелете?

Изображена революция, — но, конечно, „быта“ революции здесь вовсе нет, а если и есть, то неверный, шаржированный (вроде описания митинга), совершенно невероятный. Террорист Дудкин идет к главарю боевой организации, Липпанченко, и горлится тем, что он, Дудкин, потомственный дворянин, а Липпанченко как-никак — разночинец... Одна эта совершенно невероятная „психология“ показывает, что бытовой правды революции в романе Андрея Белого искать не приходится. И автор к этому более, чем равнодушен; его интересует не „быт“, а то, что скрыто под бытом —

подоплека, сущность, душа революции. Вот Дудкин — „квинт-эссенция революции“; не то важно, что некоторые обстоятельства его биографии списаны с жизни Гершуни („я удачно бежал: меня вывезли в бочке из-под капусты“), а важно то, что революция для Дудкина — всеобщий нигилизм, „общая жажда смерти“, „всеобщий нуль“ в итоге. Реальный Дудкин думает, конечно, иначе; но так думает за него Андрей Белый. Вот другой полюс — отец и сын Аблеуховы. Казалось бы — сенатор Аблеухов просто Каренин, доведенный до предела, до шаржа; и в нем действительно многое есть от Каренина. Казалось бы, его любовь к прямым линиям, к „проспектам“ — несложная арабчевщина, за которой не ищите никаких глубин. А сын его весь запутан, аналогично отцу, в прямых линиях „логизма“, сухие философские схемы его родственны прямым арабчевским схемам его отца. „Николай Аполлонович был кантианец; более того: когэнианец“, это был „самому себе предоставленный центр, серия из центра истекающих логических предпосылок, предопределяющих все — душу, мысль“: так расправляется с самим собой в лице Николая Аполлоновича беспощадный автор. Казалось бы — все это просто и не сложно. В действительности же, мы увидим, для автора и отец, и сын — бессознательные носители *космической* идеи. Здесь связь Андрея Белого одновременно и с Вл. Соловьевым, с его „панмонголизмом“, и еще более с теософским (или „антропософским“) учением Рудольфа Штейнера.

Не зная „теософии“, нельзя понять ни отдельных мест, ни всего романа в его целом. И то, как Аблеухов, в центре власти своей, был „силой в ньютоновском смысле, а сила в ньютоновском смысле, как, верно, неведомо вам, есть оккультная сила“, — и то, как переживания „влачили за ним отлетающим силовым и невидным глазу хвостом“, и астральный сон Аполлона Аполлоновича, и „теософское“ описание ощущений души после смерти тела — десятки и сотни таких мест романа представляются читателям невнятной тарабарщиной, а для верующих теософов — так ясны, так понятны! Верить мы не обязаны, знать же это учение интересно по многим причинам. Во всяком случае, не зная его, мы многого не поймем во всем романе Андрея Белого. Ведь и Николай Аполлонович, и революционер Дудкин сделаны, волею автора, бессознательными учениками теософской доктрины; по крайней мере, их переживания, их ощущения таковы, как будто они тщательно изучили и объемистую „*Secret Doctrine*“ Блаватской, и многотом-

ные печатные и рукописные, экзотерические и эзотерические книги и лекции Рудольфа Штейнера. Мыслил Николай Аполлонович по Канту, но налетела буря, и стал он чувствовать по Штейнеру. Только зная это, можно понять замечательный бред Николая Аполлоновича над „сардинницей ужасного содержания“ и его многословный рассказ об этом бреде, о своих ощущениях, о „пульсации стихийного тела“. Только зная это, можно понять то „космическое“ значение, которое скрывается для автора за аракчеевской паутиной сенатора-отца и за кантианской паутиной студента-сына.

Оба они, Аблеуховы, потомки далекого монгольского предка, Аб-Лай-Ухова, — носители „монгольской“ идеи, а идея эта — мировой *нигилизм*; здесь революция соприкасается с реакцией, бомба с аракчеевщиной. В этой идее — грядущий на Россию, Россию Христа, „панмонголизм“; и оба они — и отец, и сын (да и революционер Дудкин) — бессознательно служат этой идее, верные борцы за нее, верные ее слуги. Лишь в момент бреда, в момент „пульсации стихийного тела“ пелена спадает с глаз Николая Аполлоновича, и он понимает, „какого он духа“, какой идее служит он, служат оба они — он, революционер, и его отец, столп реакционных сил. В бреду своем Николай Аполлонович видит пришедшего к нему „преподобного монгола“, „преподобного туранца“: точно монгольский предок пришел требовать от него отчета. И Николай Аполлонович сразу вспомнил, что сам-то он — старинный туранец, что он уже „воплощался многое множество раз; воплотился и ныне: в кровь и плоть столбового дворянства Российской империи, чтоб исполнить одну стародавнюю, заповедную цель: — расшатать все устои; в испорченной крови арийской должен был разгореться Старинный Дракон и все пожрать пламенем“... Николай Аполлонович сразу понял, что „кантианство“ его — и есть порученное ему дело, расшатывание мертвым „логизмом“ мировых устоев; его тетрадки с записями по метафизике „сложились перед ним в одно громадное дело — дело всей жизни, уподобились сумме дел Аполлона Аполлоновича. Дело жизни его оказалось не просто жизненным делом: сплошное, громадное монгольское дело засквозило в записках под всеми этими пунктами и всеми параграфами: до рожденья ему врученная и великая миссия, — миссия разрушителя“... И с тетрадками в руках бросается Николай Аполлонович к „преподобному туранцу“:

„Параграф первый: Кант. (Доказательство, что и Кант был туранец).

„Параграф второй: ценность, понятая как никто и ничто.

„Параграф третий: социальные отношения, построенные на ценности.

„Параграф четвертый: разрушение арийского мира системой ценностей.

„Заключение: стародавнее монгольское дело“...

Но „преподобный туранец“ отвечает ему, что он неверно решает задачу, что не разрушить надо арийский мир, а заморозить его, что это дело жизни выполняет Аполлон Аполлонович — тот самый, на которого поднялась было рука его сына. „Вместо Канта — должен быть Проспект; вместо ценности — нумерация: по домам, этажам и по комнатам, на вековечные времена; вместо нового строя — циркуляция граждан Проспекта, равномерная, прямолинейная; не разрушение Европы — ее неизменность. Вот какое — монгольское дело“... И сам преподобный туранец превращается в Аполлона Аполлоновича...

Так ведут свою разрушительную работу отец и сын, реакционер и революционер, оба одинаково — мировые нигилисты; *мировой нигилизм* — та космическая идея, которую несут миру они, которую принесет с собою „панмонголизм“. Здесь — царство Дракона, царство „пасмурного католика“ первой симфонии, царство Антихриста, царство Сатаны; и сам он является в романе в персидском облике под именем Шишнарфнэ, проводит бредовую ночь с революционером Дудкиным. Все монгольское — от духа тьмы, духа небытия, идущего на Россию. Не даром и революционер-провокатор Липпанченко, этот низший представитель нигилизма, вызывает со стороны Дудкина вопрос: „вы не монгол?“, не даром и Дудкину в ночных бессонных видениях мерещится „одно роковое лицо с узкими, монгольскими глазами“, не даром он туманной ночью встречает автомобиль „с желтыми монгольскими рожами“ — около Медного Всадника... Встреча роковая и неизбежная, ибо в „панмонголизме“, — а значит, и в „паннигилизме“ — пересекаются судьбы мировые и судьбы России; „восток Ксеркса“, восток Шишнарфнэ, должен в роковой мировой борьбе столкнуться с „востоком Христа“. Предстоит великая, апокалиптическая борьба: Христа с Шишнарфнэ (впрочем, это еще мелкий бес), Христа с Драконом — там, во всей безмерности космоса, и России с Монголом — здесь, на земле. Исход борьбы не предрешен, и вот как о грядущих судьбах наших пророчествует и теософствует Андрей Белый:

„С той чреватой поры, как примчался в невскому берегу металлический Всадник, с той чреватой днями поры, как он бросил коня на финляндский серый гранит — надвое разделилась Россия, надвое разделились и самые судьбы отечества... Раз взлетев на дыбы и глазами меряя воздух, медный конь копыт не опустит: прыжок над историей — будет; великое будет волнение; рассеется земля; самые горы обрушатся от великого труса; а родные равнины от труса изойдут повсюду горбом. На горбах окажется Нижний, Владимир и Углич. Петербург же опустится. Бросятся с мест своих в эти дни все народы земные; брань великая будет — брань небывалая в мире: желтые полчища азиатов, тронувшись с насиженных мест, обогрят поля европейские океанами крови; будет, будет — Цусима! Будет — новая Калка!.. Куликово поле, я жду тебя! Воссияет в тот день и последнее солнце над моею родною землей. Если, солнце, ты не взойдешь, то, о Солнце, под монгольской тяжелой пятой опустятся европейские берега, и над этими берегами закурчавится пена; земнородные существа вновь опустятся к дну океанов — в прародимые, в давно забытые хаосы... Встань, о Солнце!..“

Вот последняя борьба Запада с Востоком, или, вернее, укрепленного западом Востока Христа с Востоком Дракона; и здесь ось романа Андрея Белого, последняя его сущность, здесь глубокая связь поэта с учителем его юности, Владимиром Соловьевым, с его последней эсхатологической проповедью...

Панмонголизм! хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно,
Как бы предвестием великой
Судьбины божией полно.

.

О Русь! В предвиденьи высоком,
Ты мыслью гордой занята, —
Каким же хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?..

Не надо быть теософом, не надо быть и мистиком, чтобы верить в это „пророчество“ о грядущей борьбе арийского мира с монгольским: весь ход истории делает неизбежной эту борьбу, которую современный мир оставляет в тяжелое наследство будущему ¹⁾. Но для мистика борьба эта тесно связывается с эсхато-

¹⁾ В статье „Испытание огнем“ (1915 г.) я говорю об этом подробно.

логией — таково вновь построение романа Андрея Белого. И если в романе его перед нами туманом проходит в персидском обличи потомок „Ксеркса“, торжествующий Шишнарфнэ, то и Христос не один раз проходит печальной тенью по страницам романа; в разных видах проходит „кто-то печальный и длинный“, с бородой, „будто связкой спелых колосьев“, и „свет струится так грустно от чела его, от его костенеющих пальцев“... Является он и революционеру Дудкину, и мысленному отцеубийце Николаю Аполлоновичу. „Все вы отрекаетесь от меня... Все вы меня гоните... Я за всеми вами хожу. Отрекаетесь, а потом призываете“... И побеждает — он, „некто печальный и длинный“, побеждает и в душе Николая Аполлоновича, и в душе его отца, и в душе террориста Дудкина, побеждает после того, как страданиями преобразуется их душа: трагедией души очищены все они, ибо душевные страдания — Христу сопричтение. Это — вторая, внутренняя тема романа.

Но победа „России Христа“ — не предрешена, не предрешена победа Медного Всадника над „роковым лицом с узкими монгольскими глазами“. В тяжелой борьбе исчезнет с лица земли Петербург — столица Аблеуховых, столица революционного и реакционного нигилизма, „праздная мозговая игра“; исчезнет с лица земли, расплывается туманом (тема Достоевского!). Ибо нет Петербурга: „это только кажется, что он существует“; нет и петербургского периода истории, — его стряхнет с себя Россия, как отца и сына Аблеуховых. А как же тот, „чьей волей роковой над морем город основался“, как же Медный Всадник: с кем он? Куда путь его ведет Россию? В романе он видное действующее лицо. Это он сидит в кабачке перед лицом запутавшегося и погибающего Николая Аполлоновича, это его „многосотпудовая рука“ грозит мировому нигилисту, это он приходит к революционеру Дудкину пробудить его от нигилистического сна — и „сызнава теперь повторялись судьбы пушкинского Евгения“; это он ведет революционера Дудкина убить гадину нигилизма, Липпанченко; перед ним, перед Медным Всадником, падает Дудкин на колени, как перед Христом, с возгласом: „Учитель!“ — и слышит гулкий голос: „Здравствуй, сынок!.. Ничего: умри, потерпи“... И весь нигилизм свой искупает революционер Дудкин кровью Липпанченки и своим сумасшествием. Но тут же — и насмешка темных сил, „диаволов водевилъ“: убив предателя ножницами, Дудкин „на мертвеца сел верхом; он сжимал в руке ножницы: руку эту простер он...; усики его вздер-

нулись вверху“... Он был гнусной пародией на того самого Медного Всадника, которого назвал он — Учитель. И насмешка эта — не только над ним, но и над самим Медным Всадником.

Но кем бы ни был Медный Всадник, эманацией Христа или адовым Летучим Голландцем (в романе он — и то и другое). — путь России ведет ее к роковой борьбе с мировым нигилизмом, и когда придет время этой борьбы — тогда „исполнятся сроки“. Когда-то Андрей Белый на юношеском „пути безумий“ ждал, что сроки исполнятся не сегодня-завтра, что сам он с друзьями, как евангельские мудрые девы, с фонарями в ночи встретят жениха; теперь он терпелив, он ждет ответа, но он верит, что „и не может быть никаких ответов пока; ответ будет после — через час, через год, через пять, а пожалуй, и более — через сто, через тысячу лет; но ответ — будет!“ И ответ этот — все на тот же призыв, который звучал с первых страниц книг Андрея Белого, которым он заканчивает и одну из глав этого своего романа: „все о том, об одном: о втором Христовом пришествии... Ей, гряди, господи Иисусе!“

Так вернулся в конце пути к своей исходной точке Андрей Белый; таков этот его замечательный роман, равного которому давно не появлялось в русской литературе; в нем достиг автор вершины своего творческого пути. Роман этот пока не всякому доступен — не только по теме, но и по выполнению. Написан он в соответствии с темой, массивно, грузно, громоздко, „вавилонно“; меньше влияния Гоголя, больше влияния Достоевского. Совершенно „достоевская“ — сцена в трактире, где Николая Аполлоновича пытается некий чиновник охранки, точно Раскольников Порфирий Порфирьевич; еще больше от Достоевского — в кошмарной беседе Дудкина с Шишнарфнэ, где в некоторых местах даже отдельные фразы взяты из кошмара Ивана Федоровича, его ночной беседы с Чортом. И все-таки в целом у Андрея Белого все в романе — *свое*, переработанное, кровное. Описания лиц, характеров, положений ведутся не прямым путем, не по „прямой линии“ (классический пример — Пушкин, „Капитанская дочка“); нет, точно спиралью ведет автор свои ходы, подходы, переходы вокруг лица или положения — грузно, громоздко; но вот в центре спирали оказывается в конце-концов именно то, что хотелось автору: незабываемое лицо, незабываемое положение. И автор, заканчивая „спираль“, заканчивая обрисовку лица, например, Аблеухова, имеет право бросить читателю: „будет, будет престарелый сенатор гнаться и за тобою,

читатель, в своей черной карете, и его отныне ты не забудешь вовек!" И действительно, не забудешь вовек целый ряд лиц, целый, ряд картин, иногда лишь эпизодических; таковы, например, сумасшествие и неудавшееся самоубийство некоего поручика Лихутина, ночные скитания по осенним улицам Петербурга Аполлона Аполлоновича, последний день жизни и смерть Липпанченко. Одни эти сцены могут показать, в какого большого художника вырос Андрей Белый в этом своем романе.

Но вместе с намеренной внешней громоздкостью построения, всюду, во всем романе, тонкая чеканная работа выполнения, шлифовки слова, „инструментовки“ его; в этом сказался поэт, автор четырех „симфоний“ и изысканий по ритмике. Когда-нибудь весь этот роман будет изучаться со стороны стилистики, ритмики, „инструментовки“; здесь можно привести только несколько примеров. Иногда мелочь: описание торжественного приема в некотором важном учреждении, где все „лак, лоск, блеск и трепет“; на этих словах „инструментовано“ все начало третьей главы романа. Канцелярия, с ее скрипом перьев, свист ветра в пустынных российских пространствах — „инструментованы“ каждая по-своему, и прием, незамысловатый прием, использованный художником, несомненно, производит желаемое им впечатление; свистящие и шипящие звуки, точно сухой песок, пересыпаются по страницам. „Рассвисталась над пустырем холодная свистопляска; посвистом молодецким, разбойным она гуляла в пространствах самарских, тамбовских, саратовских, в буераках, в песчаниках, в чертополохах, в полыни, с крыш срывая солому, срывая высоковерхие скирды“... И так — целыми страницами, „инструментуя“ на гласных, на согласных; пусть это очень искусственно — не в этом дело, лишь бы достигало цели. А насколько это достигает цели — можно судить хотя бы по замечательной сцене появления Медного Всадника в бессонном бреду Дудкина: простой „инструментовкой“ (три страницы!) на полноручное *a* и *p* (*л*) — достигается впечатление мощности, массивности шага Медного Гостя, дробящего ударами гранит... Бессознательные приемы творчества прошлого (впрочем, много сознательного было уже у Державина!) становятся с течением времени осознанными; в этом — завоевание техники, неизбежный путь развития всякого искусства.

Здесь надо остановиться — и вернуться к внутренней сущности романа, ко всему творчеству Андрея Белого. Повторю еще раз: в романе этом, высшем и замечательнейшем своем произведении,

Андрей Белый, после многих духовных скитаний и странствий, снова вернулся на прежний, первый свой путь. Верный своим вечным мистическим устремлениям, он снова ищет спасения от ледяной пустыни на прежнем, первом пути преодоления земной действительности. Но есть и новое на этом пути, и новое это — истина *теософии*: в ней теперь спасение. Долго ли „истиной“ этой удовлетворится Андрей Белый — вопрос будущего. Пока будем довольны и тем, что „истина“ эта не погубила Андрея Белого, как художника, не помешала ему создать „Петербург“ — крупнейшее произведение современной русской литературы *).

*) Подробное развитие высказанных в этой главе положений — см. ниже в особой статье, посвященной разбору „Петербурга“.